



ПОЛНОЕ
СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ

ИВАН
ТУРГЕНЕВ

Полное собрание
романов
В ОДНОМ ТОМЕ



2022
МОСКВА

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)1-44
Т87

Оформление серии *Н. Ярусовой*

В оформлении обложки использованы фрагменты работ художников
Ильи Репина и Станислава Жуковского

Иллюстрация в марке серии:
© llusletra CR/ Shutterstock.com
Используется по лицензии от Shutterstock.com

Тургенев, Иван Сергеевич.
Т87 Полное собрание романов в одном томе / Иван Тургенев. —
Москва : Эксмо, 2022. — 992 с.

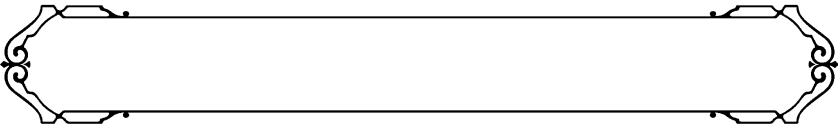
ISBN 978-5-04-171825-1

Романы И.С. Тургенева «Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и дети», «Дым», «Новь» — художественная летопись жизни русского народа на протяжении почти полувека. «Тургенев следил с бескорыстной страстью художника за развитием и распространением революционной доктрины, которую он предугадал, распознал и сделал общеизвестной», — заметил Ги де Мопассан. Не случайно романы И. Тургенева и в России, и за рубежом воспринимались как художественный комментарий к русским революционным событиям пореформенной России.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

ISBN 978-5-04-171825-1

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2022



ПРЕДИСЛОВИЕ

<к собранию романов в издании 1880 г.>

Решившись в предстоящем издании поместить все написанные мною романы («Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и дети», «Дым» и «Новь») в последовательном порядке, считаю нелишним объяснить, в немногих словах, почему я это сделал. Мне хотелось дать тем из моих читателей, которые возьмут на себя труд прочесть эти шесть романов сподряд, возможно наглядно убедиться, насколько справедливы критики, упрекавшие меня в изменении однажды принятого направления, в отступничестве и т. п. Мне, напротив, кажется, что меня скорее можно упрекнуть в излишнем постоянстве и как бы прямолинейности направления. Автор «Рудина», написанного в 1855 году, и автор «Нови», написанной в 1876-м, является одним и тем же человеком. В течение всего этого времени я стремился, насколько хватало сил и умения, добросовестно и беспристрастно изобразить и воплотить в надлежащие типы и то, что Шекспир называет «the body and pressure of time»¹, и ту быстро изменяющуюся физиономию русских людей культурного слоя, который преимущественно служит предметом моих наблюдений. Насколько это мне удалось — не мне судить; но смею думать, что читатели не усомнятся теперь в искренности и однородности моих стремлений.

Позволю себе прибавить несколько кратких замечаний о каждом из этих шести романов, замечаний, не лишенных, быть может, некоторого интереса.

«Рудин», написанный мною в деревне, в самый разгар Крымской кампании, имел успех чисто литературный не столько в самой редакции «Современника», где он был помещен, сколько вне ее. Помнится, покойный Некрасов, выслушав мое чтение, сказал мне: «Ты

¹ «Самый образ и давление времени». (Прим. авт.)

затеял что-то новое; но между нами, по секрету, скучен твой «Рудин». Правда, несколько недель спустя тот же самый Некрасов, говоря со мною о только что написанной им поэме «Сапша», заметил, что «ты, мол, увидишь, я в ней до некоторой степени подражаю твоему «Рудину» — но ведь ты не рассердишься». Помню также, что меня очень изумило письмо Сеньковского (барона Брамбеуса), которого я чуждался, как вся тогдашняя молодая школа, и который отнесся к «Рудину» с великим сочувствием.

«Дворянское гнездо» имело самый большой успех, который когда-либо выпал мне на долю. Со времени появления этого романа я стал считаться в числе писателей, заслуживающих внимание публики.

Гораздо меньший успех имело «Накануне» — хотя ни один из моих романов не вызвал столько статей в журналах. (Самою выдающейся была, конечно, статья Добролюбова.) Покойный Н. Ф. Павлов сильно раскритиковал меня — а другому, ныне также покойному критику, некоему Дарагану, дали даже обед по подписке в благодарность за весьма строгую статью о «Накануне», в которой он особенно настаивал на безнравственности главных действующих лиц. Появилось несколько эпиграмм; одна острота особенно часто повторялась: мое произведение потому-де названо «Накануне», что оно вышло накануне хорошего романа.

Прошу позволения у читателей рассказать — именно по поводу этого «Накануне» — небольшой эпизод из моей литературной жизни.

Почти весь 55-й год (так же как предшествовавшие три года) я безвыездно провел в своей деревне, во Мценском уезде Орловской губернии. Из числа моих соседей самым мне близким человеком был некто Василий Каратеев, молодой помещик двадцати пяти лет. Каратеев был романтик, энтузиаст, большой любитель литературы и музыки, одаренный притом своеобразным юмором, влюбчивый, впечатлительный и прямой. Он воспитывался в Московском университете и жил в деревне у своего отца, на которого каждые три года находила хандра вроде сумасшествия. У Каратеева была сестра — очень замечательное существо, — которая тоже кончила сумасшествием. Все эти лица уже давно умерли; оттого я так свободно говорю о них. Каратеев заставлял себя заниматься хозяйством, в котором ровно ничего не смыслил, и особенно любил чтение да разговоры с людьми ему симпатичными. Таких людей оказывалось немного. Соседям он не нравился за вольнодумство и насмешливый язык; к тому же они боялись знакомить его со своими дочерьми и женами, так как за ним упрочилась репутация, — в сущности, вовсе им не заслуженная, — репутация опасного волокиты. Ко мне он ездил часто — и его посещения доставляли мне почти единственное развлечение и удовольствие в тогдашнюю для меня не слишком веселую пору.

Когда настала Крымская война и произошел рекрутский набор на дворянство, названный ополчением, не жаловавшие Каратеева дворяне нашего уезда согласились, как говорится, упечь его — и выбрали его в офицеры этого самого ополчения. Узнав о своем назначении, Каратеев приехал ко мне. Меня тотчас поразил его расстроенный и встревоженный вид. Первым его словом было: «Я отсюда не вернусь; я этого не вынесу; я умру там». Здоровьем он похвалиться не мог; грудь у него постоянно болела, и сложения он был слабого. Хотя я сам боялся за него всех трудностей похода, однако я постарался рассеять его мрачные предчувствия и начал уверять его, что не пройдет и года — и мы снова сойдемся в нашем захолустье, будем опять видеться, толковать и спорить по-прежнему. Но он упорно настаивал на своем — и после довольно продолжительной прогулки в моем саду вдруг обратился ко мне с следующими словами: «У меня есть до вас просьба. Вы знаете, что я провел несколько лет в Москве — но вы не знаете, что со мной произошла там история, которая возбудила во мне желание рассказать ее — и самому себе и другим. Я попытался это сделать; но я должен был убедиться, что у меня нет никакого литературного таланта — и все дело разрешилось тем, что я написал эту тетрадку, которую я передаю в ваши руки». Сказавши это, он вынул из кармана небольшую тетрадку, страниц пятнадцать. «Так как я уверен, — продолжал он, — несмотря на все ваши дружеские утешения, что я не вернусь из Крыма, то будьте так добры, возьмите эти наброски и сделайте из них что-нибудь, что бы не пропало бесследно, как пропаду я!» Я стал было отказываться, но, видя, что мой отказ его огорчает, дал ему слово исполнить его волю и в тот же вечер по отъезде Каратеева пробежал оставленную им тетрадку. В ней беглыми штрихами было намечено то, что составило потом содержание «Накануне». Рассказ, впрочем, не был доведен до конца и обрывался круто. Каратеев во время своего пребывания в Москве влюбился в одну девушку, которая отвечала ему взаимностью; но, познакомившись с болгаринном Катрановым (лицом, как я узнал впоследствии, некогда весьма известным и до сих пор не забытым на своей родине) — полюбила его и уехала с ним в Болгарию, где он вскоре умер. История этой любви была передана искренне — хотя неумело. Каратеев действительно не рожден был литератором. Одна только сцена, именно: поездка в Царицыно, была набросана довольно живо — и я в моем романе сохранил ее главные черты. Правда, в то время в моей голове вращались другие образы: я собирался писать «Рудина»; но та задача, которую я потом постарался выполнить в «Накануне», изредка возникала передо мною. Фигура главной героини, Елены, тогда еще нового типа в русской жизни, довольно ясно обрисовывалась в моем воображении; но недоставало героя, такого лица, которому Елена, при ее еще смутном, хотя сильном стремлении к свободе, могла предаться.

Прочтя тетрадку Каратеева, я невольно воскликнул: «Вот тот герой, которого я искал!» Между тогдашними русскими такого еще не было. Когда на следующий день я увидел Каратеева, я не только подтвердил ему мое решение исполнить его просьбу — но и поблагодарил его за то, что он вывел меня из затруднения и внес луч света в мои, еще до тех пор темные, соображения и измышления. Каратеев этому обрадовался и, повторив еще раз: «Не дайте этому всему умереть», уехал на службу в Крым, откуда он, к глубокому моему сожалению, не вернулся. Предчувствия его сбылись. Он умер от тифа на стоянке близ Гнилого моря, где было помещено — в землянках — наше орловское ополчение, не выдавшее во время войны ни одного неприятеля и тем не менее потерявшее от различных болезней около половины своих людей. Я, однако, отложил исполнение своего обещания: я занялся другой работой; кончивши «Рудина», я принялся за «Дворянское гнездо»; и только зимою, с 58-го на 59-й год, очутившись снова в той же деревне и в той же обстановке, как и во время моего знакомства с Каратеевым, я почувствовал, что уснувшие впечатления зашевелились; я отыскал, я перечел его тетрадку; отступившие на второй план образы выступили снова на первый — и я тотчас же принялся за перо. Некоторым из моих знакомых тогда же стало известно все то, что я теперь рассказал; но я считаю своей обязанностью ныне, при окончательном издании моих романов, поделиться этим и с публикой и тем заплатить хотя поздною дань памяти моего бедного молодого друга.

И вот каким образом болгарин сделался героем моего романа. А г. критики дружно упрекали меня в деланности и безжизненности этого лица, удивились моей странной затее выбрать именно болгарина, спрашивали: «Почему? С какой стати? Какой смысл?» Ларчик просто открывается — но я не почел тогда нужным входить в дальнейшие объяснения.

Об «Отцах и детях», кажется, нет нужды говорить подробно: этому роману посвящена целая глава моих «Литературных и житейских воспоминаний». Замечу одно: вот уже семнадцать лет прошло со времени появления «Отцов и детей», а, сколько можно судить, взгляд критики на это произведение все еще не установился — и не далее как в прошлом году я по поводу Базарова мог прочесть в одном журнале, что я не что иное, как «башибузук, добывающий не им раненных». Правда, это сказал тот самый г. Антонович, который вскоре после появления «Отцов и детей» утверждал, что г. Аскоченский предвосхитил содержание моего романа.

«Дым» хотя успех имел довольно значительный, однако большое возбудил против меня негодование. Особенно сильны были упреки в недостатке патриотизма, в оскорблении родного края и т. п. Опять появились эпиграммы. Сам Ф. И. Тютчев, дружбой которого я всегда гордился и горжусь донныне, счел нужным написать стихотворение,

в котором оплакивал ложную дорогу, избранную мною. Оказалось, что я одинаково, хотя с различных точек зрения, оскорбил и правую и левую сторону нашей читающей публики. Я несколько усомнился в самом себе и умолк на некоторое время.

Что же касается до «Нови» — то, я полагаю, не для чего настаивать на том, каким дружным осуждением было встречено это мое последнее, столь трудно доставшееся мне произведение. За исключением двух, трех отзывов — писанных, не печатных — я ни от кого не слышал ничего, кроме хулы. Сперва уверяли, что я все это выдумал; что, живя почти постоянно за границей, я потерял всякое понимание русской жизни, русского человека; что одно лишь мелкое самолюбие да склонность к популярничанью водили моим пером; один журналист поспешил объяснить, что всякий порядочный человек должен непременно плюнуть на мою книгу и тут же попать ее ногами¹. А потом, после известного процесса, оправдавшего большую часть того, что называли моими выдумками, судьи мои принялись толковать другое: будто я сам чуть ли не участвовал в тех неблагоприятных замыслах и уж, конечно, знал о них, ибо в противном случае — как бы я мог предвидеть и предсказать заранее?! и т. д. и т. д. Все это потом пришло понемногу в равновесие; и во время моего последнего пребывания в России я мог убедиться, что, не отступая от некоторых, несомненно справедливых обвинений, главным образом основанных на моем удалении от родины, большинство моих соотечественников не считает мой последний роман вполне бесполезным, или вредным, или достойным одного презрения.

Так и оправдались на мне слова покойного Белинского, которые он часто любил повторять: «Всякий человек рано или поздно падает на свою полочку».

«Was ist der langen Rede kurzer Sinn?» — К чему клонится вся эта речь? — спросит, пожалуй, иной читатель. Во-первых, — к оправданию того намерения, которое было выражено мною в первых же строках настоящего предисловия; а во-вторых, к следующему выводу, внушенному мне многолетним опытом: критика наша, особенно в последнее время, не может предъявить притязания на непогрешимость — и тот писатель, кто слушается *ее одной*, подвергается опасности испортить свое дарование. Главный ее грех состоит в том, что она несвободна. Не могу кстати не высказать своего мнения о «бессознательном и сознательном творчестве», о «предвзятых идеях и тенденциях», о «пользе объективности, непосредственности

¹ Один рецензент пошел еще далее. По поводу некоторых статей о переводах «Нови», появившихся за границей, он произнес следующее изречение: «Пусть иностранцы о нем статьи пишут; а мы даже плюнуть на него не хотим». Экая скудость, подумаешь! (*Прим. авт.*)

и наивности» — обо всех этих «жалких» словах, которые, из каких бы авторитетных уст они ни исходили, всегда казались мне общими местами, ходячей риторической монетой, которая потому только не считается за фальшивую, что ее слишком многие принимают за настоящую. Всякий писатель, *не лишенный таланта* (это, конечно, первое условие), — всякий писатель, говорю, старается прежде всего верно и живо воспроизводить впечатления, вынесенные им из собственной и чужой жизни, всякий читатель имеет право судить, насколько он в этом успел и где ошибся; но кто имеет право указывать ему, какие именно впечатления годятся в литературу и какие — нет? Коли он правдив — значит, он прав; а коли у него нет таланта — никакая «объективность» ему не поможет. У нас теперь развелись сочинители, которые сами почитают себя «бессознательными творцами» — и выбирают всё «жизненные» сюжеты; а между тем насквозь проникнуты именно этой злополучной «тенденцией». Всем известно изречение: *поэт мыслит образами*; это изречение совершенно неоспоримо и верно; но на каком основании вы, его критик и судья, позволяете ему образно воспроизводить картину природы, что ли, народную жизнь, цельную натуру (вот еще *жалкое* слово!); а коснись он чего-нибудь смутного, психологически сложного, даже болезненного — особенно если это не частный факт, а выдвинуто из глубины недр своих тою же самой народной, общественной жизнью — вы кричите: стой! Это никуда не годится, это рефлексия, предвзятая идея, это политика! публицистика! Вы утверждаете, что у публициста и у поэта задачи разные... Нет! Они могут быть совершенно одинаковы у обоих; только публицист смотрит на них глазами публициста, а поэт — глазами поэта. В деле искусства вопрос: как? — важнее вопроса: что? Если все отвергаемое вами — *образом*, заметьте: *образом* — ложится в душу писателя, — то с какой стати вы заподозриваете его намерения, почему выталкиваете его вон из того храма, где на разубранных алтарях восседают жрецы «бессознательного» искусства — на алтарях, перед которыми курится фимиам, часто зажженный собственными руками этих самых жрецов? Поверьте: талант настоящий никогда не служит посторонним целям и в самом себе находит удовлетворение; окружающая его жизнь дает ему содержание — он является ее *сосредоточенным отражением*; но он так же мало способен написать панегирик, как и пасквиль... В конце концов — это ниже его. Подчиниться заданной теме или проводить программу могут только те, которые другого, лучшего не умеют.

Париж
1879. Август

Романы



Было тихое летнее утро. Солнце уже довольно высоко стояло на чистом небе; но поля блестели росой, из недавно проснувшихся долин веяло душистой свежестью, и в лесу, еще сыром и не шумном, весело распевали ранние птички. На вершине пологого холма, сверху донизу покрытого только что зацветшею рожью, виднелась небольшая деревенька. К этой деревеньке, по узкой проселочной дорожке, шла молодая женщина, в белом кисейном платье, круглой соломенной шляпке и с зонтиком в руке. Казачок издали следовал за ней.

Она шла, не торопясь и как бы наслаждаясь прогулкой. Кругом, по высокой, зыбкой ржи, переливаясь то серебристо-зеленой, то красноватой рябью, с мягким шелестом бежали длинные волны; в вышине звенели жаворонки. Молодая женщина шла из собственного своего села, отстоявшего не более версты от деревеньки, куда она направляла путь; звали ее Александрой Павловной Липиной. Она была вдова, бездетна и довольно богата, жила вместе с своим братом, отставным штабс-ротмистром Сергеем Павлычем Волынцевым. Он не был женат и распоряжался ее именем.

Александра Павловна дошла до деревеньки, остановилась у крайней избышки, весьма ветхой и низкой, и, подозвав своего казачка, велела ему войти в нее и спросить о здоровье хозяйки. Он скоро вернулся в сопровождении дряхлого мужика с белой бородой.

— Ну, что? — спросила Александра Павловна.

— Жива еще... — проговорил старик.

— Можно войти?

— Отчего же? Можно.

Александра Павловна вошла в избу. В ней было тесно, и душно, и дымно... Кто-то закопошился и застонал на лежанке. Александра Павловна оглянулась и увидела в полумраке желтую и сморщенную голову старушки, повязанной клетчатым платком. Покрытая по самую грудь тяжелым армяком, она дышала с трудом, слабо разводя худыми руками.

Александра Павловна приблизилась к старушке и прикоснулась пальцами до ее лба... он так и пылал.

— Как ты себя чувствуешь, Матрена? — спросила она, наклонившись над лежанкой.

— О-ох! — простонала старушка, всмотревшись в Александру Павловну. — Плохо, плохо, родная! Смертный часик пришел, голубушка!

— Бог милостив, Матрена: может быть, ты поправишься. Ты приняла лекарство, которое я тебе прислала?

Старушка тоскливо заохала и не отвечала. Она не расслышала вопроса.

— Приняла, — проговорил старик, остановившись у двери.

Александра Павловна обратилась к нему.

— Кроме тебя, при ней никого нет? — спросила она.

— Есть девочка — ее внучка, да все вот отлучается. Не посидит: такая егозливая. Воды подать испить бабке — и то лень. А сам я стар: куда мне?

— Не перевезти ли ее ко мне в больницу?

— Нет! Зачем в больницу! Все одно помирать-то. Пожила довольно; видно, уж так Богу угодно. С лежанки не сходит. Где же ей в больницу? Ее станут поднимать, она и помрет.

— Ох, — застонала больная, — красавица барыня, сиротиночку-то мою не оставь; наши господа далеко, а ты...

Старушка умолкла. Она говорила через силу.

— Не беспокойся, — промолвила Александра Павловна, — все будет сделано. Вот я тебе чаю и сахару принесла. Если захочется, выпей... Ведь самовар у вас есть? — прибавила она, взглянув на старика.

— Самовар-то? Самовара у нас нету, а достать можно.

— Так достань, а то я пришлю свой. Да прикажи внучке, чтобы она не отлучалась. Скажи ей, что это стыдно.

Старик ничего не отвечал, а сверточек с чаем и сахаром взял в обе руки.

— Ну, прощай, Матрена! — проговорила Александра Пав-

ловна. — Я к тебе еще приду, а ты не унывай и лекарство принимай аккуратно...

Старуха приподняла голову и потянулась к Александре Павловне.

— Дай, барыня, ручку, — пролепетала она.

Александра Павловна не дала ей руки, нагнулась и поцеловала ее в лоб.

— Смотри же, — сказала она, уходя, старику, — лекарство ей давайте непременно, как написано... И чаем ее напойте...

Старик опять ничего не отвечал и только поклонился.

Свободно вздохнула Александра Павловна, очутившись на свежем воздухе. Она раскрыла зонтик и хотела было идти домой, как вдруг из-за угла избушки выехал, на низеньких беговых дрожках, человек лет тридцати, в старом пальто из серой коломянки и такой же фуражке. Увидев Александру Павловну, он тотчас остановил лошадь и обернулся к ней лицом. Широкое, без румянца, с небольшими бледно-серыми глазками и белесоватыми усами, оно подходило под цвет его одежды.

— Здравствуйте, — проговорил он с ленивой усмешкой, — что это вы тут такое делаете, позвольте узнать?

— Я навещала больную... А вы, Михайло Михайлыч?

Человек, называвшийся Михайло Михайлычем, посмотрел ей в глаза и опять усмехнулся.

— Это вы хорошо делаете, — продолжал он, — что больную навещаете; только не лучше ли вам ее в больницу перевезти?

— Она слишком слаба: ее нельзя тронуть.

— А больницу свою вы не намерены уничтожить?

— Уничтожить? Зачем?

— Да так.

— Что за странная мысль! С чего это вам в голову пришло?

— Да вы вот с Ласунской все знаете и, кажется, находитесь под ее влиянием. А по ее словам, больницы, училища — это все пустяки, ненужные выдумки. Благотворение должно быть личное, просвещение тоже: это все дело души... так, кажется, она выражается. С чьего это голоса она поет, желал бы я знать?

Александра Павловна засмеялась.

— Дарья Михайловна умная женщина, я ее очень люблю и уважаю; но и она может ошибаться, и я не каждому ее слову верю.

— И прекрасно делаете, — возразил Михайло Михайлыч, все не слезая с дрожек, — потому что она сама словам своим плохо верит. Я очень рад, что встретил вас.

— А что?

— Хорош вопрос! Как будто не всегда приятно вас встретить! Сегодня вы так же свежи и милы, как это утро.

Александра Павловна опять засмеялась.

— Чему же вы смеетесь?

— Как чему? Если б вы могли видеть, с какой вялой и холодной миной вы произнесли ваш комплимент! Удивляюсь, как вы не зевнули на последнем слове.

— С холодной миной... Вам все огня нужно; а огонь никуда не годится. Вспыхнет, надымит и погаснет.

— И согреет, — подхватила Александра Павловна.

— Да... и обожжет.

— Ну что ж, что обожжет! И это не беда. Все же лучше, чем...

— А вот посмотрю, то ли вы заговорите, когда хоть раз хорошенько обожжетесь, — перебил ее с досадой Михайло Михайлыч и хлопнул вожжей по лошади. — Прощайте!

— Михайло Михайлыч, стойте! — закричала Александра Павловна. — Когда вы у нас будете?

— Завтра; поклонитесь вашему брату.

И дрожки покатались.

Александра Павловна посмотрела вслед Михайлу Михайловичу.

«Какой мешок!» — подумала она. Сгорбленный, запыленный, с фуражкой на затылке, из-под которой беспорядочно торчали косицы желтых волос, он действительно походил на большой мучной мешок.

Александра Павловна отправилась тихонько назад по дороге домой. Она шла с опущенными глазами. Близкий топот лошади заставил ее остановиться и поднять голову... Ей навстречу ехал ее брат верхом; рядом с ним шел молодой человек небольшого роста, в легоньком сюртучке нараспашку, легоньком галстучке и легонькой серой шляпе, с тросточкой в руке. Он уже давно улыбался Александре Павловне, хотя и видел, что она шла в раздумье, ничего не замечая, а как только она остановилась, подошел к ней и радостно, почти нежно произнес:

— Здравствуйте, Александра Павловна, здравствуйте!

— А! Константин Дномидыч! здравствуйте! — ответила она. — Вы от Дарьи Михайловны?

— Точно так-с, точно так-с, — подхватил с сияющим лицом молодой человек, — от Дарьи Михайловны. Дарья Михайловна послала меня к вам-с; я предпочел идти пешком... Утро такое чудесное, всего четыре версты расстояния. Я прихожу — вас до-

ма нет. Мне ваш братец говорит, что вы пошли в Семеновку, и сами собираются в поле; я вот с ними и пошел-с, к вам на встречу. Да-с. Как это приятно!

Молодой человек говорил по-русски чисто и правильно, но с иностранным произношением, хотя трудно было определить, с каким именно. В чертах лица его было нечто азиатское. Длинный нос с горбинкой, большие неподвижные глаза навывкате, крупные красные губы, покатый лоб, черные как смоль волосы — все в нем изобличало восточное происхождение; но молодой человек именовался по фамилии Пандалевским и называл своею родиной Одессу, хотя и воспитывался где-то в Белоруссии, на счет благодетельной и богатой вдовы. Другая вдова определила его на службу. Вообще дамы средних лет охотно покровительствовали Константину Диомидычу: он умел искать, умел находить в них. Он и теперь жил у богатой помещицы, Дарьи Михайловны Ласунской, в качестве приемыша или нахлебника. Он был весьма ласков, услужлив, чувствителен и втайне сластолюбив, обладал приятным голосом, порядочно играл на фортепьяно и имел привычку, когда говорил с кем-нибудь, так и вшиваться в него глазами. Он одевался очень чистенько и платье носил чрезвычайно долго, тщательно выбривал свой широкий подбородок и причесывал волосок к волоску.

Александра Павловна выслушала его речь до конца и обратилась к брату:

— Сегодня мне всё встречи: сейчас я разговаривала с Лежневым.

— А, с ним! Он ехал куда-нибудь?

— Да; и вообрази, на беговых дрожках, в каком-то полотняном мешке, весь в пыли... Какой он чудак!

— Кто это? Господин Лежнев? — спросил Пандалевский, как бы удивляясь.

— Да, Михайло Михайлыч Лежнев, — возразил Вольтцев. — Однако прощай, сестра, мне пора ехать в поле: у тебя гречиху сеют. Господин Пандалевский тебя проведет домой...

И Вольтцев пустил лошадь рысью.

— С величайшим удовольствием! — воскликнул Константин Диомидыч и предложил Александре Павловне руку.

Она подала ему свою, и оба отправились по дороге в ее усадьбу.

...Вести под руку Александру Павловну доставляло, по-видимому, большое удовольствие Константину Диомидычу; он выступал маленькими шагами, улыбался, а восточные глаза его даже покрылись влагой, что, впрочем, с ним случалось нередко; Константину Диомидычу ничего не стоило умилиться и пролить слезу. И кому бы не было приятно вести под руку хорошенькую женщину, молодую и стройную? Об Александре Павловне вся...ая губерния единогласно говорила, что она прелесть, и...ая губерния не ошибалась. Один ее прямой, чуть-чуть вздернутый носик мог свести с ума любого смертного, не говоря уж о ее бархатных карих глазках, золотисто-русых волосах, ямках на круглых щечках и других красотах. Но лучше всего в ней было выражение ее миловидного лица: доверчивое, добродушное и кроткое, оно и трогало и привлекало. Александра Павловна глядела и смеялась, как ребенок; барыни находили ее простенькой... Можно ли было чего-нибудь еще желать?

— Вас Дарья Михайловна ко мне прислала, говорите вы? — спросила она Пандалевского.

— Да-с, прислала-с, — отвечал он, выговаривая букву *c* как английское *th*, — они непременно желают и весели вас убедительно просить, чтобы вы пожаловали сегодня к ним обедать... Они (Пандалевский, когда говорил о третьем лице, особенно о даме, строго придерживался множественного числа), они ждут к себе нового гостя, с которым непременно желают вас познакомиться.

— Кто это?

— Некто Муффель, барон, камер-юнкер из Петербурга. Дарья Михайловна недавно с ним познакомились у князя Гарина и с большой похвалой о нем отзываются, как о любезном и образованном молодом человеке. Господин барон занимается также литературой, или, лучше сказать... ах, какая прелестная бабочка! извольте обратить ваше внимание... лучше сказать, политической экономией. Он написал статью о каком-то очень интересном вопросе — и желает подвергнуть ее на суд Дарье Михайловне.

— Политико-экономическую статью?

— С точки зрения языка-с, Александра Павловна, с точки зрения языка-с. Жуковский с ними советовался, а благодетель мой, проживающий в Одессе благопотребный старец Роксолан Медярович Ксандрыка... Вам, наверное, известно имя этой особы?

— Нисколько, и не слыхивала.

— Не слыхивали о таком муже? Удивительно! Я хотел сказать, что и Роксолан Медиарович очень был всегда высокого мнения о познаниях Дарьи Михайловны в русском языке.

— А не педант этот барон? — спросила Александра Павловна.

— Никак нет-с; Дарья Михайловна рассказывают, что, напротив, светский человек в нем сейчас виден. О Бетховене говорил с таким красноречием, что даже старый князь почувствовал восторг... Это я, признаюсь, послушал бы: ведь это по моей части. Позвольте вам предложить этот прекрасный полевой цветок.

Александра Павловна взяла цветок и, пройдя несколько шагов, уронила его на дорогу... До дому оставалось шагов двести, не более. Недавно выстроенный и выбеленный, он приветливо выглядывал своими широкими светлыми окнами из густой зелени старинных лип и кленов.

— Так как же-с прикажете доложить Дарье Михайловне, — заговорил Пандалевский, слегка обиженный участью поднесенного им цветка, — пожелаете вы к обеду? Они и братца вашего просят.

— Да мы придем, непременно. А что Наташа?

— Наталья Алексеевна, слава Богу, здоровы-с... Но мы уже прошли поворот к имению Дарьи Михайловны. Позвольте мне раскланяться.

Александра Павловна остановилась.

— А вы разве не зайдете к нам? — спросила она нерешительным голосом.

— Душевно желал-с, но боюсь опоздать. Дарье Михайловне угодно послушать новый этюд Тальберга: так надо приготовить-ся и подучить. Притом я, признаюсь, сомневаюсь, чтобы моя беседа могла доставить вам какое-нибудь удовольствие.

— Да нет... почему же...

Пандалевский вздохнул и выразительно опустил глаза.

— До свидания, Александра Павловна! — проговорил он, помолчав немного, поклонился и отступил шаг назад.

Александра Павловна повернулась и пошла домой.

Константин Диомидыч также пустился восвояси. С лица его тотчас исчезла вся сладость: самоуверенное, почти суровое выражение появилось на нем. Даже походка Константина Диомидыча изменилась; он теперь и шагал шире, и наступал тяжелее. Он прошел версты две, развязно помахивая палочкой, и вдруг опять осклабился: он увидел возле дороги молодую, довольно смаз-

ливую крестьянскую девушку, которая выгоняла телят из овса. Константин Диомидыч осторожно, как кот, подошел к девушке и заговорил с ней. Та сперва молчала, краснела и посмеивалась, наконец закрыла губы рукавом, отворилась и промолвила:

— Ступай, барин, право...

Константин Диомидыч погрозил ей пальцем и велел ей принести себе васильков.

— Ну что тебе васильков? Венки, что ль, плесть? — возразила девушка. — Да ну, ступай же, право...

— Послушай, моя любезная красоточка, — начал было Константин Диомидыч...

— Да ну, ступай, — перебила его девушка, — баричи вон идут.

Константин Диомидыч оглянулся. Действительно, по дороге бежали Ваня и Петя, сыновья Дарьи Михайловны; за ними шел их учитель, Басистов, молодой человек двадцати двух лет, только что окончивший курс. Басистов был рослый мальч, с простым лицом, большим носом, крупными губами и свинными глазками, некрасивый и неловкий, но добрый, честный и прямой. Он одевался небрежно, не стриг волос — не из щегольства, а от лени; любил поесть, любил поспать, но любил также хорошую книгу, горячую беседу и всей душой ненавидел Пандалевского.

Дети Дарьи Михайловны обожали Басистова и уж несколько его не боялись; со всеми остальными в доме он был на короткой ноге, что не совсем нравилось хозяйке, как она ни толковала о том, что для нее предрассудков не существует.

— Здравствуйте, мои миленькие! — заговорил Константин Диомидыч. — Как вы рано сегодня гулять пошли! А я, — прибавил он, обращаясь к Басистову, — уже давно вышел; моя страсть — наслаждаться природой.

— Видели мы, как вы наслаждаетесь природой, — пробормотал Басистов.

— Вы материалист: уже сейчас Бог знает о чем думаете. Я вас знаю!

Пандалевский, когда говорил с Басистовым или подобными ему людьми, легко раздражался и букву *с* произносил чисто, даже с маленьким свистом.

— Что же, вы у этой девки небось дорогу спрашивали? — проговорил Басистов, поводя глазами вправо и влево.

Он чувствовал, что Пандалевский глядит ему прямо в лицо, а это ему было крайне неприятно.